

ЛУИСХЕН

Существуют браки, возникновение которых не может представить себе даже самая изощренная художественная фантазия. Их следует принимать, как принимаешь на театре странные сочетания таких противоположностей, как старость и тупость с красотой и жизнерадостностью, которые обычно служат математически рассчитанными основаниями фарсовых положений.

Супруга адвоката Якоби была молода и хороша собой — поистине очаровательная женщина. Скажем, лет эдак тридцать назад ее нарекли при крещении именами Анна, Маргарета, Роза, Амалия, но никогда не называли иначе чем Амра, по начальным буквам этих имен. Амра — несомненно, своим экзотическим звучанием имя это гармонировало с ее существом, как ни одно другое. Хотя густые мягкие волосы Амры, причесанные на косой пробор и приподнятые над узким лбом, были каштанового цвета, но кожа ее, по-южному матово-смуглая, обтягивала формы, казалось, созревшие под солнцем юга и пышной своей томностью напоминавшие прелести юной султанши.

С этим впечатлением, вызывавшимся ее сладострастно-ленивыми движениями, вполне совпадало и другое — что рассудок у нее в высшей степени подчинен сердцу. Стоило ей взглянуть на кого-нибудь невинными карими глазами с одной её свойственной манерой высоко поднимать красивые брови на трогательно узкий лобик, — и это всем становилось ясно. Впрочем, сама она не была столь простодушна, чтобы этого не знать, и старалась поменьше говорить и не пускаться в длинные рассуждения. Ведь о женщине хорошенькой и неболтливой ничего дурного не скажешь!

О, слово «простодушна» было здесь, пожалуй, наименее подходящим. Во взгляде ее читалась не столько глупость, сколько какая-то сладострастная хитрость; эта женщина была не так глупа, чтобы натворить бед.

Нос ее в профиль казался чуточку великоватым и мясистым, зато крупный рот с полными губами был безупречно красив, хотя и лишен иного выражения, кроме чувственного.

Так вот, эта оболстительная женщина была супругой сорокалетнего адвоката Якоби, и каждый, кто видел его, только диву давался. Он был грузный мужчина, этот адвокат, даже более, чем грузный, — настоящий колосс! Ноги его, неизменно обтянутые серыми брюками, своей бесформенной массивностью напоминали ноги слона, сутулая от жира спина была словно у медведя, а необъятную окружность живота постоянно стягивал кургузый серо-зеленый пиджачок, который застегивался на одну-единственную пуговицу с таким трудом, что стоило только расстегнуть ее, как полы пиджачка взлетали чуть не до плеч. На этот огромный торс, почти лишенный шеи, была насажена сравнительно маленькая голова с узкими водянистыми глазками, коротким приплюснутым носом и обвисшими от собственной тяжести щеками, между которыми терялся крошечный рот с печально опущенными уголками. Сквозь бесцветную редкую и жесткую щетину, покрывавшую круглый череп и верхнюю губу адвоката, просвечивала кожа, как у перекормленной собаки.

Ах, все, наверно, понимали, что его тучность отнюдь не свидетельствует о здоровье. Ожиревшее тело, огромное в длину и в ширину, было лишено мускулатуры, а отекавшее лицо часто наливалось кровью и также внезапно вдруг покрывалось желтоватой бледностью; рот его при этом как-то кривился.

Практика у него была весьма ограниченная, но так как он обладал солидным состоянием, отчасти благодаря приданому жены, то супруги, кстати сказать, бездетные, занимали на Кайзерштрассе большую комфортабельно обставленную квартиру и вели светский образ жизни — в угоду вкусам госпожи Амры, разумеется, ибо немислимо себе представить, чтобы такая жизнь нравилась адвокату, с вымученным усердием принимавшему участие в разнообразных развлечениях. Этот толстяк отличался необычным характером. Не было на свете человека более вежливого, предупредительного, уступчивого, чем он; но все вокруг, может быть, и не отдавая себе в том отчета, чувствовали, что за его чрезмерно угодливыми и льстивыми манерами кроется малодушие, внутренняя неуверенность, и всем становилось не по себе. Нет ничего отвратительнее, чем человек, который презирает самого себя, но из трусости и тщеславия хочет быть любезным и нравиться. Именно так, по-моему, и обстояло дело с адвокатом: в своем раболепном самоуничтожении он заходил так далеко, что уже не был способен сохранить нормальное чувство собственного достоинства. Адвокат мог сказать даме, приглашая ее к столу: — Сударыня, я отвратительнейший человек, но не соблаговолите ли вы... — и это он произносил без намека на шутку, кисло-сладко, вымученно и отталкивающе.

О нем, например, рассказывали следующий достоверный анекдот. Однажды, когда адвокат прогуливался по улице, откуда ни возьмись появился нагловатый посыльный, толкавший перед собою ручную тележку, и колесом ее основательно придавил адвокату ногу. Когда он наконец остановил тележку и обернулся, адвокат, совершенно растерявшийся, бледный, с трясущимися щеками, низко поклонился и пробормотал: — Извините.

Ну, как тут не возмутиться!

Этого странного колосса, казалось, всегда мучила нечистая совесть.

Прогуливаясь об руку с супругой по бульвару, он время от времени бросал робкие взгляды на Амру, выступавшую восхитительно упругой походкой, и раскланивался направо и налево так усердно, боязливо и раболепно, словно испытывал потребность, смиренно склоняясь перед каждым встречным лейтенантом, просить прощения за то, что он, именно он, обладает этой прекрасной женщиной. И рот его принимал жалостно-угодливое выражение.

Казалось, адвокат умоляет: только не смейтесь надо мной.

Мы уже говорили, что никто не знал, почему, собственно, Амра вышла замуж за адвоката Якоби. Но он любил ее пылкой любовью, редко встречающейся у людей его телосложения, любовью покорной и боязливой, вполне соответствовавшей его характеру.

Часто поздним вечером, когда Амра уже отдыхала в своей просторной спальне, высокие окна которой были завешены тяжелыми гардинами в цветочках, к широкой кровати жены так тихо, что были слышны не шаги, а лишь легкое дрожание пола и мебели, подходил адвокат, опускался на колени и с величайшей осторожностью брал ее руку. Амра в таких случаях обычно высоко поднимала брови и молча, с выражением чувственной злобы наблюдала за своим огромным супругом, распростертым перед нею в слабом свете ночника. Он же, бережно приподняв своими неуклюжими, дрожащими пальцами рукав ее рубашки, прижимал толстое печальное лицо к мягкой впадинке на полной смуглой руке, там, где сквозь кожу просвечивали тонкие голубые жилки. И робко, с дрожью в голосе начинал говорить так, как в обычной жизни не говорит ни один разумный человек: — Амра! — шептал он. — Любимая моя Амра! Я тебе не помешал? Ты еще не спала? Бог мой, целый день я думал о том, как ты прекрасна и как я люблю тебя! Выслушай меня, мне надо многое тебе сказать. Но это очень трудно выразить! Я люблю тебя так сильно, что сердце мое иногда сжимается, и я не знаю, что мне с собою делать. Я люблю тебя сверх сил. Ты этого, пожалуй, не поймешь, но ты уж поверь. И хоть разочек скажи, что чуть-чуть благодарна мне за это. Знаешь, ведь такая любовь, как моя, должна цениться в этом мире.

Скажи, что, даже если ты не можешь любить меня, ты никогда мне не изменишь, не предашь, только из благодарности, из одной лишь благодарности... Я пришел умолять тебя об этом, умолять всем сердцем...

Кончались такие речи обычно тем, что адвокат, не меняя позы, начинал тихо и горестно плакать. Амра бывала тронута, гладила рукой щетину своего супруга и, утешая его, повторяла тягучим насмешливым тоном, каким разговаривают с собакой, подползшей лизнуть ноги господина: — Да!.. Да!.. Славный ты пес!

Такое поведение Амры, конечно, не было поведением порядочной женщины.

Настало время наконец раскрыть правду, о которой я до сих пор умалчивал: увы, она лгала мужу, обманывая его с неким господином по имени Альфред Лейтнер. Молодой музыкант, не без способностей, он в свои двадцать семь лет приобрел довольно широкую известность забавными маленькими пьесками; был он стройным мужчиной с дерзким лицом, светлыми, немного растрепанными волосами и ясной, самоуверенной улыбкой, отражавшейся в его глазах. Он принадлежал к современным не слишком требовательным к себе артистам, которые прежде всего стремятся быть счастливыми и приятными, свой маленький талант используют, чтобы придать собственной персоне побольше обаяния, и любят разыгрывать в обществе роль наивного гения. Обдуманно ребячливые, аморальные, беззастенчивые, веселые, самодовольные и притом достаточно здоровые, чтобы нравиться себе даже в болезни, они и вправду довольно милы в своей суетности, пока их не коснется беда. Но горе этим счастливицам, этим фиглярам, если на них обрушится серьезное несчастье, которым не пококетничаешь, не порисуешься. Они не сумеют с достоинством перенести его, не будут знать, что им «предпринять» со своими страданиями, и погибнут, — но это уже тема для другого рассказа.

Господин Лейтнер сочинял премилые вещи, большею частью вальсы и мазурки, слишком легковесные, чтобы почитаться, насколько я в этом разбираюсь, настоящей музыкой, не будь в каждой из этих пьесок какого-нибудь небольшого оригинального пассажа, перехода, вставки и гармоничного поворота, не будь в них чего-то, что чуть-чуть возбуждало нервы, позволяя угадывать остроумие и изобретательность композитора. Ради этого они, казалось, и были созданы, что и делало их достойными внимания истинных знатоков. Два-три такта в произведениях господина Лейтнера звучали иногда до странности грустно и меланхолично, но эта грусть тут же растворялась в разбитной мелодии танца.

Вот к этому-то молодому человеку и воспылала запретной страстью Амра Якоби, у него же не достало нравственной силы противостоять ее чарам. Они встречались то в одном, то в другом месте и давным-давно состояли в недозволенной связи. Об этой связи знал весь город, и весь город судачил о ней за спиной адвоката. А что же он? Амра была слишком глупа, чтобы мучиться угрызениями совести и тем самым выдать себя. Можно с уверенностью сказать, что адвокат, как ни переполнено было его сердце опасениями и страхом, ни в чем не подозревал свою супругу.

Но вот, радуя все сердца, вступила в свои права весна, и Амру осенила счастливая идея.

— Христиан, — сказала она (адвоката звали Христиан), — давай устроим праздник, наступающий праздник в честь молодого весеннего пива; без претензий, конечно, только холодная телятина, зато гостей назовем уйму. — Отлично, — согласился адвокат. — Нельзя ли только его немного отсрочить?

Но Амра пропустила слова мужа мимо ушей и сейчас же начала обсуждать подробности предстоящего празднества.

— Гостей мы назовем много, так что в наших комнатах будет, пожалуй, слишком тесно. Надо снять помещение попросторнее, зал, хорошо бы в саду, за городскими воротами, чтобы вдосталь было места и воздуха. Ну, да ты и сам понимаешь. У меня на примете зал господина Венделица, у холма Лерхенберг. Он расположен в саду, а с рестораном и пивоварней связан галереей. Мы празднично разукрасим его, расставим длинные столы и будем пить весеннее

пиво! После ужина потанцуем, послушаем музыку, устроим настоящий концерт. Я знаю, там есть маленькая сцена. Спектаклю я придаю особое значение. Словом, это будет совершенно необычный праздник, и мы повеселимся на славу.

Лицо адвоката во время разговора слегка пожелтело, и углы рта, дрожа, поползли книзу. Он сказал: — Всем сердцем рад, дорогая моя Амра. Я знаю, что могу положиться на твои способности. Прошу тебя начать приготовления.

И Амра начала приготовления. Она посоветовалась с разными дамами и кавалерами, самолично сняла большой зал господина Венделица, организовала даже нечто вроде комитета из приглашенных любителей, вызвавшихся участвовать в концерте, которым решено было увенчать праздник. Комитет состоял из одних мужчин, исключение было сделано лишь для супруги придворного артиста Гильдебранда, певицы. Итак, в комитет вошли господин Гильдебранд, ассессор Вицнагель, какой-то юный художник, а также господин Альфред Лейтнер, да еще несколько привлеченных ассессором студентов, которые должны были исполнять негритянские танцы.

Уже через неделю после того, как Амра приняла решение, комитет в полном составе собрался на Кайзерштрассе в салоне Амры — небольшой, теплой комнате, устланной толстым ковром, где стояла оттоманка со множеством подушек, веерная пальма, английские кожаные кресла и покрытый плюшевой скатертью стол красного дерева с изогнутыми ножками. Был здесь и камин, который еще изредка топили. На его черной каменной доске стояло несколько тарелок с бутербродами, рюмки и два графина с шерри.

Амра, грациозно заложив ногу за ногу, прекрасная, как южная ночь, полулежала на подушках оттоманки, осененной пальмой. На ней была блузка из светлого, очень легкого шелка, живописно драпировавшего ее бюст, и юбка из тяжелой темной ткани, затканной крупными цветами; время от времени она откидывала рукой с узкого лба каштановую прядь.

Певица, рыжеволосая госпожа Гильдебранд, одетая в амазонку, устроилась на оттоманке рядом с Амрой. Напротив дам тесным полукругом расположились мужчины. В центре, на низеньком кожаном кресле, с невыразимо несчастным видом сидел адвокат. Время от времени он глубоко вздыхал и судорожно глотал слюну, словно борясь с подступающей тошнотой.

Господин Альфред Лейтнер, в костюме для лаун-тенниса, отказался от стула, весело заявив, что не может так долго сидеть неподвижно, и картинно облокотился о камин.

Господин Гильдебранд благозвучным голосом распространялся об английских песнях. Это был самоуверенный мужчина, солидно и добротнo одетый во все черное, с величественной головой Цезаря — придворный актер, разносторонне образованный, с утонченным вкусом. Он любил в серьезном разговоре покритиковать Ибсена, Золя и Толстого, преследовавших, по его мнению, одну и ту же зловредную цель, но сегодня благосклонно снизошел до пустяков.

— Известна ли вам, господа, прелестная песенка «That's Maria!»¹? — спросил он. — Довольно пикантная, но необычайно трогательная. Хорошо бы также исполнить знаменитую... — И он назвал еще несколько песен, на которых в конце концов все сошлись, а госпожа Гильдебранд вызвалась их исполнить.

Художник, молодой человек с чересчур покатыми плечами и светлой бородкой, должен был спародировать фокусника, а господин Гильдебранд — изобразить нескольких знаменитых мужей. Короче говоря, все складывалось как нельзя лучше, и программа, казалось, была уже окончательно составлена, когда господин ассессор Вицнагель, обладатель любезных манер и множества шрамов на лице, вдруг попросил слова.

— Превосходно, господа, все это действительно обещает быть очень занимательным; однако не могу не заметить, что нам все же недостает центрального номера, гвоздя програм-

¹ «Это Мария!» (англ.).

мы, кульминационного пункта — чего-то совершенно особенного и ошеломляющего, остроумной шутки, которая стала бы вершиной нашего праздника. Короче, я предоставляю вам решать, у меня нет определенных предложений, но, по-моему...

— Совершенно справедливо, — донесся от камина тенор господина Лейтнера. — Вицнагель прав. Главный и заключительный номер программы нам необходим. Подумаем! — И, поправляя быстрыми движениями свой красный пояс, он выжидательно оглядел всех присутствующих. Выражение лица у него было весьма приятное.

— Ну, знаете ли, — возразил господин Гильдебранд, — если уж великих людей не считать кульминационным пунктом...

Общество поддержало ассессора. Надо придумать какой-нибудь необыкновенно забавный номер. Даже адвокат кивнул головой и тихонько сказал: — В самом деле, что-нибудь отменно веселое...

Все погрузились в размышления.

И вот в конце паузы, длившейся с добрую минуту и прерываемой лишь короткими возгласами, произошло нечто неожиданное. Лицо Амры, которая до сих пор сидела, откинувшись на подушки оттоманки, и, как мышь, проворно и усердно грызла заостренный ноготок на мизинце, приняло вдруг необычное выражение. Вокруг ее губ заиграла усмешка, говорившая о мучительном и в то же время жестоком сладострастии, а взгляд широко открытых ясных глаз медленно обратился к камину, где на секунду встретился с взглядом молодого музыканта.

Внезапно всем корпусом подавшись в сторону мужа, она положила обе руки к нему на колени, побледнев, впилась в него притягивающим, зовущим взглядом и сказала громко и раздельно: — Христиан, я предлагаю, чтобы в конце программы ты в красном шелковом платье спел шансонетку и что-нибудь станцевал.

Действие этих немногих слов было ошеломляющим. Только юный художник попытался добродушно засмеяться, господин Гильдебранд с каменным лицом чистил свой рукав, студенты кашляли и неприлично громко пользовались своими носовыми платками, госпожа Гильдебранд покраснела, что не так уж часто случалось с ней, а ассессор Вицнагель просто удрал — будто бы за бутербродом. Адвокат, с пожелтевшим лицом и жалкой, боязливой улыбкой, скрючившийся в неудобном низеньком кресле, озирался по сторонам и бормотал: — Но, боже мой... я... вряд ли способен... не то, чтобы... прошу прощения...

С Альфреда Лейтнера слетела вся его беззаботность. Казалось, он даже немного покраснел; вытянув голову, смущенно и испытующе смотрел он в глаза Амре, ничего не понимая.

Она же, Амра, не меняя позы, продолжала с подчеркнутыми интонациями: — А споешь ты, Христиан, песенку, которую сочинит господин Лейтнер, он будет и аккомпанировать тебе на рояле, у вас выйдет лучший и эффектнейший номер нашего праздника.

Наступило молчание. Гнетущее молчание. А затем произошло нечто удивительное: господин Лейтнер, заразившись настроением Амры, увлеченный и взволнованный, шагнул вперед и, дрожа, словно в порыве внезапного восторга, торопливо заговорил: — Ради бога, господин адвокат, я готов, я с удовольствием сочиню что-нибудь для вас... А вы это споете, вы должны спеть и станцевать...

Лучшего номера не выдумаешь! Вы увидите, вы увидите... я превзойду самого себя... В красном шелковом платье! Ах, у вашей уважаемой супруги подлинно артистическая натура! Иначе бы ей никогда не пришла в голову такая мысль.

Скажите же «да», умоляю вас, согласитесь! Я создам такое, я создам такое... вы увидите.

После этого атмосфера разрядилась, все задвигались, заговорили и, то ли по злобе, то ли из вежливости, наперебой принялись уговаривать адвоката, а госпожа Гильдебранд даже заявила могучим голосом Брунгильды: — Господин адвокат, ведь вы же всегда такой веселый и общительный!

Тогда наконец сам адвокат обрел дар речи и еще немного желтый, но с выражением отчаянной решимости сказал: — Выслушайте меня, господа! Что мне сказать? Поверьте, я не

гожусь для этого. У меня нет комического таланта, да и, кроме того... короче, нет, это, к сожалению, невозможно.

Он упорно отказывался, и так как Амра больше в разговор не вмешивалась и сидела с отсутствующим выражением лица, откинувшись на подушки, а господин Лейтнер тоже не произнес больше ни слова, погруженный в созерцание узора на ковре, то господину Гильдебранду удалось перевести разговор на другую тему; и вскоре все общество разошлось, так ничего и не решив.

Однако вечером того же дня, когда Амра уже ушла к себе и лежала с открытыми глазами, в спальню тяжелой походкой вошел ее супруг, пододвинул к кровати стул, тяжело опустился на него и, запинаясь, тихим голосом начал: — Послушай, Амра, откровенно говоря, меня мучают сомнения. Если я сегодня и упорствовал перед гостями, если я был недостаточно учтив с ними — то, бог свидетель, без всякого умысла. Или ты серьезно считаешь... прошу тебя...

Амра помолчала, брови ее медленно поползли вверх, затем, пожав плечами, она ответила: — Не знаю, что тебе сказать, друг мой. Я никогда не ожидала, что ты будешь так вести себя. Ты в самых нелюбезных выражениях отказался участвовать в нашей затее, хотя все считали это совершенно необходимым, что, собственно, должно было тебе польстить. Ты всех нас, как бы это помягче выразиться, глубоко разочаровал, испортил нам праздник грубостью и нелюбезностью, хотя твой долг хозяина...

Адвокат понурил голову и, тяжело дыша, сказал: — Нет, Амра, я не хотел быть нелюбезным, поверь мне. Я никого не хочу обидеть и никому не хочу досадить, и если я некрасиво вел себя, то готов загладить свою вину. Речь ведь идет о шутке, о маскараде, о невинной забаве — так почему бы и нет? Я не хочу портить праздник, я согласен...

На другой день Амра, как обычно, поехала «за покупками». Она вышла из экипажа на Хольцштрассе у дома номер 78 и поднялась на третий этаж, где ее уже ожидали. Распростертая в любовном томлении, она прижимала его голову к своей груди, страстно шепча: — Напиши это для четырех рук, слышишь! Мы вдвоем будем ему аккомпанировать, его пению и танцу. А я позабочусь о костюме...

Странный трепет пробежал по их телам. Они с трудом подавили судорожный смех.

Каждому, кто желает устроить праздник на вольном воздухе и на славу принять гостей, можно безбоязненно порекомендовать зал господина Венделица на Лерхенберге. С живописной пригородной улицы через высокие решетчатые ворота вы попадаете в сад, вернее в парк, в центре которого расположен павильон с обширным залом. Этот павильон, соединенный узкой галереей с рестораном, кухней и пивоварней, сколочен из досок и разрисован веселыми пестрыми картинками в забавном стиле — смесь китайщины и ренессанса; по бокам его имеются большие двустворчатые двери, которые при хорошей погоде держат раскрытыми; тогда в зал, вмещающий уйму народа, проникает дыханье деревьев.

Сегодня разноцветные огоньки уже издали приветливо мигали подъезжающим экипажам. Вся садовая решетка, деревья и стены павильона были густо увешаны пестрыми фонариками, внутреннее же убранство зала представляло поистине очаровательное зрелище. Почти под самым потолком тянулись густые гирлянды таких же бумажных фонариков, хотя между украшениями на стенах — флагами, хвоей и искусственными цветами — и без того сияли бесчисленные электрические лампочки. В конце зала возвышались подмости, с двух сторон обрамленные листовыми растениями. На красном занавесе парил искусно нарисованный Гений. С другого конца, почти до самой сцены, тянулись длинные, убранные цветами столы, за которыми лакомились весенним пивом и телятиной гости адвоката Якоби: юристы, офицеры, коммерсанты, художники, видные чиновники со своими супругами и дочерьми, — человек полтора, если не больше. Одеты все были просто: мужчины в черных сюртуках, дамы в светлых весенних платьях, ибо законом сегодняшнего праздника почиталась веселая непринужденность. Мужчины с кружками в руках сами бегали к большим бочкам, стоявшим

у стены, и в огромном, пестром и светлом зале, наполненном сладковатым тяжелым запахом хвои, цветов, людей, пива и еды, стоял гул от стука ножей и вилок, от громких нецеремонных разговоров, звонкого, любезного, оживленного и беззаботного смеха.

Адвокат, бесформенный и беспомощный, сидел в конце одного из столов, близ сцены; он мало пил и время от времени, с трудом выжимая из себя слова, обращался к своей соседке, советнице Хаверман.

Он трудно дышал, углы его рта опустились, заплывшие мутновато-водянистые глаза смотрели неподвижно и отчужденно на радостное веселье, словно было в этом праздничном угаре, в этом шумном оживлении нечто бесконечно грустное и непостижимое.

Но вот гостей стали обносить огромными тортами, все перешли на сладкие вина и начали произносить тосты. Господин Гильдебранд, придворный актер, в речи, состоявшей сплошь из классических цитат, даже на древнегреческом языке, воздал хвалу весеннему пиву. Ассессор Вицнагель изысканным жестом чокался с дамами и, набрав из ближайшей вазы и со скатерти букет цветов, сравнивал каждую даму с одним из них. Амра Якоби, в платье из тонкого желтого шелка, сидевшая напротив него, была провозглашена «прекрасной сестрой чайной розы».

Выслушав этот тост, она поправила рукой свои мягкие волосы и с серьезным видом кивнула супругу. Толстяк поднялся и чуть было не испортил всем настроение, с противной своей улыбкой пробормотав несколько жалких слов. Раздались жидкие неискренние возгласы «браво», и на миг воцарилось гнетущее молчание. Но веселье быстро взяло верх, и захмелевшие гости начали подниматься из-за столов, курить и собственноручно с грохотом выдвигать из зала мебель; пора было начинать танцы.

Время уже приближалось к полуночи, и непринужденность царила полная.

Часть общества высыпала в пестро освещенный сад, чтобы глотнуть свежего воздуха, другая оставалась в зале; собравшись группами, гости курили, болтали, цедили из бочек пиво и тут же пили его.

Но вот со сцены раздались громкие звуки труб, призывающие всех в зал.

Музыканты — с духовыми и струнными инструментами — разместились перед занавесом; стулья расставили рядами, на каждом лежала красная программка, дамы заняли места, а мужчины встали за ними. Наступила тишина, полная напряженного ожидания.

Маленький оркестр заиграл шумную увертюру, занавес раздвинулся, и — смотрите, пожалуйста, — на сцене появилась целая толпа препротивных негров в кричащих костюмах, с кроваво-красными губами. Они скалили зубы и орали во всю глотку.

Концерт поистине стал вершиной праздника. То и дело раздавались восторженные аплодисменты, и, номер за номером, разворачивалась умело составленная программа. Госпожа Гильдебранд вышла в напудренном парике и, стукнув длинной тростью об пол, спела не в меру громким голосом «That's Maria!». Иллюзионист в увешанном орденами фраке превзошел себя в удивительных фокусах, господин Гильдебранд с потрясающим сходством изобразил Гете, Бисмарка и Наполеона, а редактор доктор Визеншпрунг, в последний момент решивший принять участие в вечере, прочитал юмористический доклад на тему: «Весеннее пиво и его социальное значение». Под конец заинтересованность зрителей возросла до предела, предстал последний номер, обрамленный в программе лавровым венком и гласящий: «Луизхен, пение и танцы. Музыка Альфреда Лейтнера».

По залу прошло движение, все невольно переглянулись, когда музыканты отложили свои инструменты и господин Лейтнер, до сих пор молча стоявший у одной из дверей, сжимая полными губами сигарету, сел вместе с Амрой Якоби за рояль, установленный в центре перед занавесом.

Лицо его покраснелось, он нервно перелистывал написанные от руки ноты, Амра же, наоборот, несколько бледная, опершись рукой о спинку стула, бросала настороженные взгляды в публику. Но вот раздался резкий звонок, и все вытянули шеи. Господин Лейтнер и Амра сыграли несколько тактов, занавес поднялся, на сцену вышла Луизхен...

Замешательство охватило ряды зрителей, когда перед ними, неуклюже приплясывая, возникла жалкая, отвратительно разряженная туша. Это был адвокат. Широкое без складок, падающее до полу платье из кроваво-красного шелка облегало его бесформенное туловище, а глубокий вырез обнажал тошнотворно напудренную шею. Короткие рукавчики были пышно присобраны на плечах, а длинные ярко-желтые перчатки прикрывали толстые, лишённые мускулатуры руки. На голове его возвышался белокурый парик с воткнутом в него, покачивающимся из стороны в сторону, зеленым пером. Из-под парика смотрело желтое, опухшее, несчастное лицо, выражавшее одновременно отчаяние и деланную веселость. Безостановочно прыгающие щеки вызывали сострадание, а маленькие покрасневшие глазки, ничего не видя, напряженно уставились в пол.

Тяжело переваливаясь с ноги на ногу, этот толстяк то обеими руками придерживал платье, то бессильно поднимал их вверх, выставив оба указательных пальца, — других движений он делать не умел. И сдавленным голосом, задыхаясь, пел под звуки рояля дурацкую песенку.

Не исходил ли от этой жалкой фигуры больше чем когда-либо холод страдания, который убивал всякую непосредственную веселость и неотвратимым гнетом мучительного беспокойства ложился на собравшееся общество? Одинаковый ужас светился в глубине бесчисленных глаз, устремленных на эту картину, — те двое у рояля и супруг на подмостках.

Безмолвный, неслышанный скандал длился по меньшей мере пять нескончаемо долгих минут.

А затем наступил момент, которого никто из присутствующих не забудет до конца дней своих. Давайте же представим себе, что произошло в этот краткий, страшный и напряженный отрезок времени».

Многим известны забавные куплеты, под названием «Луизхен», и, возможно, памятные строчки:

Ах, танцевать и вальс и польку
Здесь не умели до меня,
Вот я, Луизхен из народа,
И всех мужчин свожу с ума... —

нескладные, легкомысленные стишки, рефрен двух довольно длинных строф.

Правда, Альфред Лейтнер, сочинивший новую музыку на эти слова, опять блеснул манерой, обескураживающей слушателей неожиданным введением в вульгарную, забавно-неприятательную мелодию мастерских пассажей подлинной музыки, и создал настоящий шедевр.

Мелодия первых тактов в до-диез мажоре звучала довольно красиво и совершенно банально. К началу же рефрена темп оживился, появились диссонансы, в которых все чаще звучало си, что позволяло ожидать перехода к фа-диез. Нестройные аккорды усложнялись вплоть до слов «до меня», а после «вот я», доводящего напряжение первой части до предела, должна была последовать развязка в фа-диез. Вместо того произошло нечто совершенно поразительное. Внезапным, неожиданным аккордом, подсказанным почти гениальной идеей, тональность резко переходила в фа мажор, и здесь вступление голоса при использовании обеих педалей на втором протяжном слоге слова «Луизхен» производило необыкновенное, поистине неслышанное впечатление!

Это было нечто великолепное, сногшибательное, возбуждающее нервы настолько, что по спине пробегали мурашки, это было откровение, чудо, страшное своей внезапностью разоблачение, словно вдруг упала завеса.

При аккорде в до мажоре адвокат Якоби перестал танцевать. Он застыл, застыл посреди сцены с поднятыми вверх указательными пальцами — один повыше, другой пониже, — звук «и» из слова «Луизхен» застрял у него в горле, он замолчал, — почти одновременно резко оборвался аккомпанемент, и это выставленное на посмеяние отвратительное чудовище там, наверху, по-звериному нагнув голову, воспаленными глазами уставилось прямо перед собой.

Он бессмысленно смотрел в нарядный, светлый, переполненный зал, в котором, словно испарения всех этих людей, почти осязаемо сгущалась атмосфера скандала. Смотрел на задранные кверху, надменные, ярко освещенные лица, на сотни глаз, с одинаковым выражением полной осведомленности устремленных на мужчину и женщину внизу перед ним и на него самого.

В полной тишине, не нарушаемой ни единым звуком, он медленно, с выражением тревоги переводил страшный взгляд своих все расширявшихся глаз с этой пары на публику и с публики на эту пару. Он все понял, кровь прилила к его лицу — оно стало красным, как шелк платья, — тотчас же отлила, так что краска сменилась восковой бледностью, и толстяк рухнул на затрещавшие доски.

Мгновение царила тишина, затем послышались крики, все заволновались, несколько сохранивших присутствие духа мужчин, среди них молодой врач, прыгнули из оркестра на сцену, занавес опустили.

Амра Якоби и Альфред Лейтнер все еще сидели у рояля, отвернувшись друг от друга. Он, опустив голову, казалось, продолжал вслушиваться в переход к фа мажору, она, неспособная птичьим своим мозгом так быстро охватить происшедшее, пустыми глазами смотрела на публику.

Молодой врач, невысокого роста еврей с серьезным лицом и черной острой бородкой, тотчас же вновь появился в зале. Мужчинам, окружившим его в дверях, он сказал, пожимая плечами:

— Конец.

1897